

В последние годы стало очевидно: отечественная литература «меняет голос». Связано это не только с изменившейся общественной жизнью и экономической ситуацией (читай: новыми идеологическими установками и рыночными отношениями в книгоиздании), но и с приходом нового писательского поколения. Петр Алешковский - автор повестей «Чайки», «Жизнеописание Хорька» и биографического романа о Василии Тредиаковском «Арлекин» - привлек к себе читательский интерес и стабильное внимание критиков. Последние как-то вдруг перестали обвинять его в «чернухе» и выяснять, в каком родстве он с Юзом Алешковским, и сосредоточили свое внимание на том, что «произошло почти невероятное: на наших глазах сформировался яркий прозаик».

беседа при свидетелях

Толпа безлика и ужасна, и стоглава, и стоока, и страшна

С прозаиком Петром АЛЕШКОВСКИМ беседует Наталья ИГРУНОВА

Россия. - 1995. - 6-12 сент. - с. 7

ришь, что сегодняшняя «взвирренная» Россия спасется провинцией?

- Как историк я представляю себе, что, начинаясь в Москве, все продолжается в провинции, продолжается и тогда, когда в Москве начинается уже новое и новое. Отъехав на сто километров, мы можем оказаться и в девятнадцатом веке, и в восемнадцатом... Приезжаю в тульскую деревню - мне говорят, у одной бабки есть какие-то красивые пасхальные яйца. Нахожу ее, спрашиваю, что за яйца, она говорит: «Это Богово подношение». Очень хорошо. «А откуда у тебя?» - «А у меня дедушка (дядюшка - она говорит) был кучер, вот когда царя-то рванули, матушка его одела рубашку простежку и босиком пошла в монастырь. Всех поцеловала, низко поклонилась. А яйца эти батюшка-царь дал кучеру». - «Какой царь?» - говорю и тут соображаю, что речь идет о Великом Князе и московских событиях. Факты трансформировались, но память сохранилась. Вокруг пьян и родные - пьян, они все пропьют, но продать яйца она не хочет ни за какие деньги - это память о ее семье... Это из легенд. А образ жизни... Где-нибудь на таежной заимке - там просто двенадцатый век, там ведь ничего нет, кроме, может, керосиновой лампы. Сам стиль жизни практически не меняется. Отношение наше к власти, все рассуждения о демократии... Я был бы очень не против, если бы у нас была демократия, жаль, реальной демократии вообще нет... Человек не верит государству и государю никогда, а вместе с тем думает: «А вот Ельцин - хороший, когда стоял на Белом Доме,» - или, наоборот, - плохой: «Что же они творят?! За власть воюют». Есть национальный характер, который веками складывался и не нами будет поломан. Если и будет поломан, то историей. Мне было проще и доходливей понимать Россию через провинцию. Отсюда Старгород, здесь родились «Чайки», как бы история рода, откуда цикл рассказов «Голоса из хора».

- Ты сказал: прощай, Россия через провинцию. Почему?

- Там все проще, там все жизненное, реально жизненное, там нет никакой литературы... Я люблю природу, люблю грибы собирать, охотиться, просто сидеть в лесу или в доме, слушать тишину. По-моему, это любит каждый. Конечно, для меня поездки в деревню связаны еще и с новыми людьми, судьбами, сюжетами. Люди образованные, скажем так, в силу своей профессии, в силу устоявшихся привычек (это же как зверь, который метит свою территорию) мало задушевываются об окружающих и не то чтобы презрительно относятся к ним, - просто не понимают и не пытаются понять. Но если ты не будешь выпендриваться, а придешь и скажешь: «Научите, мне это интересно», или: «Покажите, я хочу это знать», - к тебе отнесутся сначала, как к ребенку (такому интересному ребенку или чужому ребенку), будут подозрительно присматриваться, а потом поймут, поверят. Когда я устало жить литературой, я убегаю в жизнь, которой мне не хватает, понимаешь? Там я действительно могу пожить. Не психовать, не нервничать, как здесь, в этом городе. А вообще, если бы мне удалось дальше писать о городе, я бы писал о городе. Новый мой роман «Владимир Чигринцев» как раз наполовину «городская», наполовину «деревенская» вещь, то, что мне и нравится, и хочется делать.

- Что мне всегда интересно в твоей работе - каждая большая новая вещь, разрабатывая общий круг «корневых» проблем - русской веры и русского неверия, памяти рода, судьбы личности в современном мире - предыдущую не повторяет. Ни по материалу, ни по героям, ни по эпохе.

- Мне неинтересно работать на отработанном материале. И «Чигринцев», роман, который в осенних номерах печатает «Дружба народов», - вещь иная, чем прежние. Я считаю, что написал триллер. Там действует вурдалак, там ищут клад. Все происходит сегодня, но документы и память возвращают в глубину - до Пугачевского восстания. На самом деле книга о проблемах нашей жизни: уезда-неуезда, выживания и воли к жизни, которая и есть главное. Главное - не сдавать позиции жизненные, не переступать черту, за которой хаос и разорение мозгов.

Я ненавижу эти слова: «надо жалеть русский народ», «надо спасать русский народ». Мне кажется, не народ спасать надо, а самих себя - в высоком смысле слова, то есть думать о своей жизни. А если и биться за кого-то, то не за «конгломерат», не за толпу, которая безлика и ужасна, и стоглава, и стоока, и страшна, а за отдельную личность и за идеи, которые никогда и не менялись, они изложены в «Декалоге» и с рождения известны и понятны каждому.

- С месяц назад я разговаривала со Светланой Алексиевич - о том, что в Белоруссии и в России происходит и как все это отзывается в литературе, и она сказала: действительность настолько страшна, что невозможны собственно литературные сюжеты. А как ты на это смотришь?

- Я недавно прочитал книжку Даниила Корещкого «Антикиллер», она в списке каких-то безумных бестселлеров, написал ее мент, полковник из Ростова-на-Дону. Триллер, точно по американским меркам сделанный. Страшная вещь. На самом деле не менее страшная, чем «Цинковые мальчики» Алексиевич. Автор и правда хорошо знает мир, о котором пишет, дотошно описывает, из какой винтовки как стрелять, и тому подобное. Действительно, то, что сейчас происходит у нас в стране, похоже на кошмар. И тем не менее мне кажется, что литература существует, будет существовать, выживет. И выживет благодаря такой простой вещи: в этом кошмаре нам нужна какая-то «отдушина». Начнется война (упаси Господь, конечно), тогда придется выбирать и участвовать. Пока она далеко, пока, слава Богу, никого из моих родных туда не забрали, я очень сочувствую, очень сострадаю и чеченцам и русским, и русским и чеченцам, понимаешь? Я однозначно знаю, что Шамиль Басаев террорист и вздернуть бы его на суку, но я знаю и то, что он национальный герой своей страны и действует в интересах своего народа, у него уничтожена семья, и это трагедия колоссальная, и я не знаю, как к нему относиться на самом деле. Но это уже человеческие отношения.

- Интересно: в этом твоём «знании» и «незнании» столкнулись однозначный оценочный взгляд историка и объемный, сомневающийся писательский взгляд.

- К осмыслению литературой войны - и Отечественной, и войны как таковой - в России еще долго будут возвращаться. Вот сейчас был «накат» Богомолова на Владимова...

- Позволь, я тебя переведу на русский язык: в еженедельнике «В мире книг» была недавно опубликована огромная статья прозаика военного поколения Владимира Богомолова, в которой он, разбирая историческую основу романа Георгия Владимова «Генерал и его армия», упрекает автора в вольном обращении с реальными фактами.

О ней действительно много спорят. Ты на чьей стороне?

- Думаю, что в большинстве случаев Богомолов прав. Но Владимов написал литературное произведение. И, несмотря ни на что, я читаю - меня захватывает. Мы живем в мифе точно так же, как мы живем во времени. Литература - это иная реальность. Это вымысел, свободный полет, а не фотография реальности. (Когда не сходятся концы с концами, когда слишком придуманно, слишком заострено - дело иное, это уже вопросы мастерства.) Война была близко. Понятно, что и проза была приближенная к действительности, «заземленная». Все - меня это не устраивает. Мне интересней читать «Дон Кихота», «Капитанскую дочку», «Нос», «Шинель». Вещи придуманные, метафоричные. Метафора - вот что важно и о чем забыла советская литература.

- Ну, допустим, Булгаков не забыл. Если его, конечно, отнести к советской литературе.

- Параллельно все сохранялось. Был Булгаков, был Платонов... Может быть, в поколении сменился голос. Звук. Да, это наверняка.

- А поколения в литературе существуют?

- Я не знаю, существуют или нет, я знаю одно: мне сегодня Трифонов, скажем, не интересен. По одной простой причине: скучно читать. А если скучно, значит, не увлекает звук его прозы. Но это не значит, что Трифонов плох. Трифонов остался, и его будут читать. Но вот, скажем, открываю я Гончарова, «Обломов», положим. Очень старая, тягостная проза. Но как она приятна! Как она приятна, правда? А почему? А потому, что она не вчерашняя, а позавчерашняя. Но то, что было вчера, очень близко. Меня на этом воспитывали. Значит, я должен от этого оттолкнуться. Я писал «Тредиаковского» и совершенно четко видел «волны» сменяемых звуков российской поэзии. С новым царем появлялся новый царепоп, поэт. Каждому времени, каждому его отрезку соответствует свой поэт. Поэтому, скажем, Евтушенко или Вознесенский, которыми зачитывались, которых слушались еще недавно, совершенно не звучат сегодня. И пусть они кому-то смешны - я буду сочувственно понимать, что ушло время.

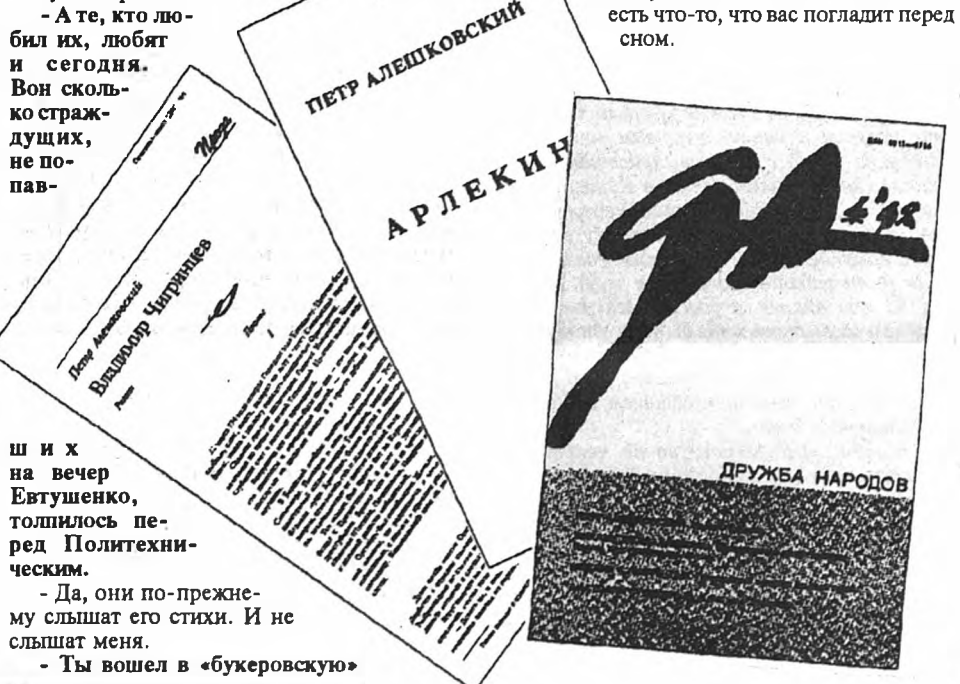
- А те, кто любил их, любят и сегодня. Вон сколько страждущих, не пав-

«обойму», но «Букер» - это несколько десятков профессионалов-номинаторов, которые заметили тебя. А как ты думаешь, кто тебя читает?

- Вот этого я не знаю. У меня в основном журнальные публикации. «Арлекин» (Тредиаковский) вышел в издательстве «Радекс» тиражом три тысячи экземпляров, продается за одиннадцать с лишним тысяч, очень дорого, в элитарных магазинах Москвы. «Толкачеством» никогда не занимался и не буду. Людям сейчас, в общем, не до чтения. Самое обидное, что многим бы и «до чтения», да не по карману... Знаешь, я уже несколько раз читал свои рассказы вслух - так называемым бизнесменам. С машинами связанный бизнес - чистят, полируют. У них клуб. Сами меня нашли. И платят хорошо. Но готов читать «за бесплатно», честное слово! Внутри все оттаивает, когда я им читаю - такое внимание... Конечно, я мечтаю, чтобы читателей было больше, чтобы меня печатали на Западе или где-нибудь в Китае. Но читателей не будет много все равно. Поэтому не надо думать ни о Нобелевской премии, ни о глобальном захвате мира. Я же не Стивен Кинг. И не Рей Брэдбери, которого очень люблю. Это другой жанр. Страшно не это: когда вещь написана - ощущение абсолютной пустоты. Я не знаю, что родится и родится ли. Люди, которые, не отрываясь, пишут всю жизнь, наверно, счастливы. Потому что действительно ничего более счастливого и радостного в жизни нет, чем когда ты сядешь за стол и начинаешь работать, - и работаешь и работаешь, и работаешь и работаешь, и пошло и не пошло, и пошло и не пошло, но это работа, это дело.

- Скажи, а мир светлый для тебя?

- Мир светлый. Безусловно. Но вообще все зависит от нас самих и от нашего отношения к небесам, так скажем. Если мы верим, что человек создан не как животное, если мы понимаем, что человек создан не как вампир и кровопийца, тогда все в порядке. А мы ведь знаем, что это не так. Дегуманизация литературы происходит от колоссального шока, который принес людям XX век. Но описывать кошмары и кровь - это путь, противоположный моему. Пусть я придумал историю, пусть я рассказал вам сказку. Но в сказке есть намек. И есть что-то, что вас погладит перед сном.



- Как бы ты сам хотел начать этот разговор?

- Давай с самого начала. Я родился в пятьдесят седьмом году в Москве, и, как это ни странно, жили мы в Третьяковской галерее.

- Что значит в Третьяковской галерее?

- На задах галереи были коммуналки для сотрудников, в одной из них мы жили. Но я этого не помню.

- А родился ты, случайно, не в Третьяковке?

- Родился я, по-моему, у Граурмана. В Третьяковке мы прожили полгода. И коммуналки я не хлебнул, в этом смысле я тепличное создание. А то, что первым местом жительства была Третьяковская галерея, мне приятно. Бабушка там работала всю жизнь, и это была домашняя местность. А другое такое место - это Исторический музей, где работает мама до сих пор. Это всегда было мое, мне близко. И вообще музейный, архивный быт я хорошо знаю. Все родственники связаны либо с искусством, либо с археологией. И я учился на истфаке МГУ и кончил как археолог.

- Работал по специальности?

- Да, работал в реставрационной мастерской, производил раскопки в Новгороде, на Соловках, в Вологде и вокруг Москвы.

- А любил профессию?

- Как сказать... Я любил профессию, но не любил то, что должен любить археолог. Археолог должен любить вещи. А я вещи люблю так, как отвлеченный ценитель. В детстве была любимая игра - подходишь в музей к витрине или к «живописной» стене, и мама или бабушка говорят: «Выбери что-то одно». Это было сложно, и это воспитывало эстетический вкус. Хотелось забрать все: все эти перстни, крестики, гребенки, - но ответить надо и выбрать надо, и объяснять почему. А коллекционерство мне никогда не было свойственно. Мало кто из музейных работников коллекционирует, это как бы этически против всех принципов. И, отработав шесть лет в реставрации, я понял, что делать мне там нечего. А сделать карьеру мог, начал писать диссертацию об оборонительных сооружениях Новгорода. Но как-то все было не в жилу, скорее, это было продолжением дела отца, который к этому времени уже умер. Меня всегда интересовал документ, личность интересовала. Я, скорее, был историком, нежели археологом. И тут судьба сделала блестящий ход - познакомила с семьей Эйдельмана, на дочке которого я женился. Рядом с Натаном Яковлевичем я просуществовал лет пятнадцать и, конечно, получил очень много - и в творческом плане тоже.

- А когда ты не просто захотел писать,

а понял, что можешь и должен?

- Графоманил я всегда, а понял, что могу стать профессионалом, очень странно. Написал какой-то абсолютно «эйдельмановский» очерк про Крашенинникова и пришел в издательство «Книга» с заявкой на книгу. Мне сказали: «Нет, он путешественник, а не писатель, возьмите на выбор: Тредиаковского, Ломоносова или Сумарокова, - если вы любите это время». Я, честно глядя в глаза, сказал: «Да, люблю». На самом деле - соврал, мало что знал про XVIII век, то, что в программе, может, чуть больше. Выбрал Тредиаковского - самая интересная из них фигура, человек вечно гонимый. Год писал первую главу. В архиве сидел, в Астрахань ездил.

- Это какой год?

- Восемьдесят третий или восемьдесят четвертый. Но вышла книжка только в прошлом году.

- И в другом издательстве.

- Она кочевала в планах, не нравилась кому-то... Она действительно шла «вразрез». Писать, как Эйдельман, я не хотел. Понимал: настолько эта мелодия близка - сразу подстроилась. Мне хотелось так писать, конечно: «Остап подошел к окну - все было мрак и вихрь», - то есть чтобы действующее лицо, как в историческом романе было живым и существовало, но только на архивном материале. Я лет пять ездил по архивам, музеям, занимался и нумизматикой того времени, и одеждой... Семейные связи помогли - мама водила меня, скажем, в отдел тканей Исторического музея, я смотрел, как одевались тогда, в каких каретах ездили... Так вот эта книжка была сделана.

- А Эйдельман ее прочел?

- Эйдельман ее прочел в черновом варианте. И тоже покривился. Надо сказать, установка издательства «Книга» в серии «Писатели о писателях» была скорее тыняновская или эйдельмановско-рассадинская. Анти ЖЗЛ - это однозначно. Этакое вольное исследование с отходами в боковые стороны. У моей книжки был другой звук. Но так или иначе, книжку я закончил, и мне надо было что-то делать дальше. Если уж начал чирикать по бумаге, надо было писать. Так появились «Чайки» - повесть, которая вышла в журнале «Дружба народов» благодаря крепкой помощи Саши Архангельского и Фазиля Абдуловича Искандера, написав нечто вроде внутренней рецензии, он дал мне билет в дорогу. После «Чайки» я понял: Старгород, выдуманый провинциальный город, еще живет. Мне казалось, что провинция вообще главное в России.

- Ты буквально подталкиваешь меня задать сакраментальный вопрос: ты ве-